

АНДРЕЙ ТАРАСОВ

## ПОЭТ ШЁЛ ЗА ХЛЕБОМ

*Реквием по друзьям, постигшим безграничность души*

Год назад, прошлой осенью из туркменского города Ашхабада телефонный голос осторожно предупредил: “Не знаю, как сказать тебе про Вадима...” Дальше можно было не говорить. Значит, и Вадим. Вадим Зубарев. Вадим Иванович, шестьдесят три года, могучий, рассудительный, уравновешенный человек и тончайший поэт. Русский поэт, потерявший родину. Повторяемость этих слов с начала века метрономом озвучивает вехи российской истории. Поэт, не знаменитый за чертой своей республики, где прожил жизнь, хотя в ортодоксальные времена, в сентябре 83-го, наша “Литературка” поздравила его с 50-летием, да ещё “с портретиком”, что считалось тогда “цыганочкой с выходом”. “Вы родились в Касимовском районе Рязанской области. Но Туркмения стала для Вас второй родиной. И, естественно, необычный пейзаж Каракумов, славные дела и судьбы тружеников республики...” “Какая музыка звучала!...” Только не надо думать, что этот стандартный комплимент отражал удобство, с которым поэт устроился в существовавшем тогда мире. Нет и нет, потому и надо сказать об этой жизни и смерти, об этой поэзии с общим их единым знаком: неприспособившийся.

Что да как! В голове и сердечный приступ, и insult какой-нибудь, и куча непонятных болезней или приступ отчаяния. И вдруг самое банальное и самое предсказуемое, что только может быть: шёл через дорогу за хлебом и был сбит насмерть машиной. В статистике автодорожных происшествий – что в Каракумах песчинка. Но опять-таки в нашем знаковом мире этот поход за хлебом означает судьбу и рок.

А ещё то, что весьма легкомысленно и по-пижонски недооценил я лет тридцать назад простенькое с виду стихотворенище своего старшего, но, как потом оказалось, далеко ещё не старого, а совсем молодого товарища по русскопишущему цеху. О средней полосе, о том, что “**потянуло снегом с Онег, с Ладог**”, и этот полузабытый нами в туркестанской жаре “**русский снег – сладок!**”. И смысл концентрировался в лаконизме трёх строчек:

*Где на колесе,  
где на полозу —  
доползу.*

Зачем драматизм-то такой? – удивлялся я поэтическому перебору, будучи прозаиком и реалистом. Мир (внутрисоветский, естественно) давно един и монолитен, как бетонная плита. Сел в самолёт – и через пять часов в своём Касимове Рязанской области, без всяких полозьев.

Мало тогда я задумывался о пробуксовке исторических витков и о поэтическом предчувствии, которое тогда могло быть лишь скрытым даром, так как явным и ценным, то есть поощряемым и насаждаемым, был дар восхваления. Из него-то Вадим и выпадал, это пошлое “славься, Отечество наше прекрасное” нельзя было из него вытащить клещами. **“Я рад и хлебу, и железу // России – матери своей; // а льстить не льщу, в глаза не лезу, // в любви не объясняюсь ей”**. Может быть, это больше впечатляет как кредо, но особенно трогал его негромкий голос:

*Мало ли что  
молва и печать —  
можно о Родине и молчать,  
думать где-нибудь в Бородине  
с полем, с полуднем наедине.*

О Родине — не кричать, а молчать. Когда потом о шестидесятничестве стали кричать, то забыли, что оно было наиболее сильно сопротивлением негромкого, но честного и искреннего голоса. Вадим в него вписался с Литинститута, где тогда учились ещё фронтовики — Ваншенкин, Винокуров, Исаев, — но забродил и евшушковский хмель. Вадим тогда не зацепился ни за метрополию, ни за эстрадную известность, хотя, как ни странно теперь, стал даже лауреатом поэтического конкурса на Варшавском фестивале молодёжи. Он вернулся на окраину, туда, где его родители учительствовали в детдоме. Чтобы стать тем, кем ему уже по этому признаку было на роду написано: русским интеллигентом на просторах Евразии.

Теперь-то я знаю, где она, эта самая Евразия, о которой нам плешь проели. Именно там, в россыпях Каракумов и предгорьях Копетдага, где царил совершенно необыкновенный дух всеобщности мировых судеб. Я знал и русских так называемых образованцев, называвших между собой туркмен и узбеков “чурками”, “чучмеками” и даже “зверьями”. В этом понимании Вадим Зубарев — знак не только глубокой порядочности и чуткой деликатности ко всем особенностям другого народа, но и мудрого проникновения в душу другой, “параллельной” цивилизации. Вообще надо быть немного “со стороны”, чтобы оценить и понять какую-нибудь сложную структуру, поэтому ему, скупому на внешнюю выразительность, это удавалось больше, чем даже умнейшим коренным философам и поэтам. От простодушного **“садам и лейкам садам алейкум”** до пронизательного и диалектичного:

*Кроме ясности,  
есть неясности,  
кроме яств — ещё яды Азии...*

Когда мы хотели “спрямить” Азию (как, впрочем, и Россию) до одномерной чиновно-сырьевой равнины с квадратно-гнездовыми трудовыми поселениями исполнительных и усреднённых граждан, лишённых вместе с “феодално-байскими предрассудками” тонкостей особенного характера, именно такие, как Вадим, чувствовали вину за эту ломовую бестактность пришельцев. Можно сказать, этот воспитательный лом и обесценил действительно цивилизующие, хоть и капиллярно-неброские усилия многих бескорыстных и самоотверженных людей русского происхождения — учителей, агрономов, инженеров, врачей... Как ни грустно, они потерпели поражение там как раз потому, что феодализм местный очень удачно сомкнулся с феодализмом партийно-советским, кремлёвским. И ворон ворону глаз не выклевал.

Ещё надо сказать, что это была группа тех русских интеллигентов, которая поразила меня своей непровинциальностью. Что-то такое рождал этот стык эпох и цивилизаций, смешанный воздух снегов и пустынь. Такой начитанности, такой ориентированности в широтах мировой культуры и глубинах истории я потом не встречал среди столичных университетских знакомых. Видимо, сам отрыв от столичного центра, не считая отрыва от всеобщего культурного сообщества, заставлял компенсировать дальность и глухость большой внутренней работой. “И я, быть может, не прочь... увидеть Флоренцию”, — задумчиво говаривал, бывало, старейшина этой писательской группы, сам из

железнодорожных служащих, Александр Иванович Аборский, сухой, поджарый, чуть насмешливый старик в мощных толстостенных очках, похожий на Паустовского, знаток каждого километра и каждого изгиба Каракумского канала, друг Юрия Олеши и Артёма Весёлого, Твардовского и Дудина, приведённый в Москве в Лаврушинском к Пастернаку, чтобы рассказать об ашхабадском землетрясении 48-го года и сказавший: “Три минуты наедине с Богом, а потом... как обычно”. Флоренция была далеко, пустыня и жара близко, но центр мира был у них там, где находились они. Хоть на чабанской стоянке, хоть в маленькой местной редакции. Был среди них поэт Юра Рябинин, лучезарный поистине парень, погибший, как в бою, когда его вместе с другом Курбаном Эзизовым и московским гостем Василием Шабановым застрелил на ночной дороге в машине придурок-дезертир. Был журналист Эдуард Скляр, прозванный туркменами “рыжебородый пророк” за бесподобное, никакими образованиями не прививаемое знание всех диалектов и всех племенных оттенков туркменского языка. Цитируя на память любую страницу мировой литературы, от антики и Кальдерона до Сартра и Хлебникова, письма Тургенева Фету, переписку Тютчева с канцлером Горчаковым, Языкова — со славянофилами, дневники Лоуренса Аравийского и записки Вамбери, они могли переноситься в любую эпоху и на любое расстояние без виз, билетов и партийных характеристик.

Но ведь это не самоцель, а вот кто ценил это общение, так это наши туркменские друзья, которые собрались вокруг моих друзей в талантливый и просвещённый круг. Притом не только литераторы и художники, а часто знакомые мелиораторы, колхозники, учёные. Куда ни приедешь, на берег Каспия или Амударьи, они тут как тут, и я был уверен, что эта цепная реакция интеллигентности, не знающая национальных и сословных границ, неостановима. И это тогда сглаживало дурь казенной идеологизации.

Вадим же, кстати, довольно одинокий и малокомпанейский и в этом кругу, редко замеченный в застольях и творческих странствиях, был похож скорей на ту снежную вершину, которую так пронзительно увидел глазами пропесоченного и прокалённого жителя пустыни:

*Прерванный близ половины  
путь, обнадёжь  
и продлись.  
Мутные реки равнины  
в снежных горах  
родились.*

Земля кругла — и старик с чабанским посохом ощущает это не хуже гарвардского профессора, если всерьёз.

*Не дали кануть слезами  
в пересыпь злого песка.  
Персия перед глазами.  
Индия не далека.*

“Гин бол” — будь широким. Ответ мудрого туркмена на те нелепости жизни, которые ему не подвластны. И уж совсем наивное удовольствие от общения с проезжающими умниками, думающими, что мы тут ничего не знаем...

*Поздний чаёк попивает,  
глядя на свой материк.  
“Белых ночей  
не бывает”, —  
думает чёрный старик.*

Тонкие люди лучше поймут друг друга, чем грубые, и это великий смысл поэзии. Но им и труднее во все времена. Вадим среди нас был главным фанатиком работы над словом и шлифовки рифмы. Они у него безупречней, чем у многих шумных классиков современности. Поэтому стихи копились медленно, за всю жизнь не набралось на десяток тощих книжек, вряд ли кормивших поэта. И что не получалось — это служба.

Предельная органическая честность делала его неуклюжим в карьерных коридорах и лишала малейшего шанса на привилегию. Помню попытку вступления в партию, куда его пристраивали даже начальники, нуждаясь в грамотном специалисте. Интеллигенту-служащему, да ещё русскому, это всегда в нацреспублике сложнее, чем известному верблюду с известным игольным ушком. Но были сделаны все нужные звонки в ЦК из Союза писателей, уломали, главное, его самого, всегда равнодушного к “корочкам”, и вот парткомиссия, предваряющая (кто помнит) бюро райкома. Сидят в ряд грозные старики, участники гражданской, до сих пор выявляющие врагов. Несколько прожжённых бюрократов. Впериваются подозрительными взорами в простодушное, приветливое, умное лицо, задают первый вопрос о политике партии. Вадим чуть задумывается и вполне дружески поправляет инквизиторов: “Вопрос, собственно, поставлен неправильно...” Что?! Дальше и говорить не пришлось. Идите, вы свободны. Такие нам не нужны.

Не нужен там, не нужен здесь. Дело даже не в личных отношениях – Вадима многие любили и уж уважали предельно. Но заборы между суверенными странами, разбившие освоенное пространство, скудная пенсия с невозможностью передвигаться, как прежде, талонный социализм феодального розлива, когда секретари ЦК сбросили маски и стали тем, кем всегда хотели быть, а народ с шести утра встал в очередь за хлебом, который не привозят третий день... Но и это не главное. Главная боль – крах тех попыток сроднить русскую душу с душой Востока, которым отдана жизнь. Потому что душа – она везде душа, она есть или её нет. Душа Вадима искала такую же душу – нашла и потеряла. Потеряла ли? Ещё неизвестно, я думаю. И вообще, всё сделанное, передуманное и перечувствованное не может “кануть слезами в пересыпь злого песка”. Рано или поздно вырастет новое крепкое дерево, политое этим источником снежных вершин поверх тупоголового торга. Это я себя утешаю. Вадим этого не узнает.

Поэт шёл за хлебом. А мы теперь читаем его провидческие строчки, которые превратили этот хлеб, буханку суточной нормы, в символ выживания и нового апокалипсиса. Почему, казалось всю жизнь, под обликом добродушия, благожелательности, неторопливой воспитанности такая глубина тревоги и печали? Потому, может, что видел, на какой тонкой ниточке душевного мира всё это держится, готовое сорваться. И как эту ниточку старался беречь, и как за неё боялся! **“События подталкивать негоже, но – чувствовать их близость всюю кожей”**. 70-е годы, когда мы ещё сладко спали.